

Леонид Андреев

Ночной разговор



Леонид Николаевич Андреев

Ночной разговор

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156854

Аннотация

«Это был день, полный ярости.

Двое суток германские войска, двигаясь к Парижу, безуспешно штурмовали бельгийский городок Н., защищаемый смешанными корпусами англичан, бельгийцев и французов. Массы бледных людей в остроконечных кошмарных касках шли в атаку и гибли на полпути; их сменяли новые массы таких же бледных людей и остроконечных касок и также гибли: чаще дождевых капель, чаще градин был пулеметный и орудийный град, и легче было не промокнуть в проливной дождь, нежели избегнуть пули и осколка...»

Содержание

Часть 1	4
Часть 2	12
Часть 3	24
Часть 4	37
Часть 5	44

Леонид Николаевич Андреев Ночной разговор

Часть 1

Это был день, полный ярости.

Двое суток германские войска, двигаясь к Парижу, безуспешно штурмовали бельгийский городок Н., защищаемый смешанными корпусами англичан, бельгийцев и французов. Массы бледных людей в остроконечных кошмарных касках шли в атаку и гибли на полпути; их сменяли новые массы таких же бледных людей и остроконечных касок и также гибли: чаще дождевых капель, чаще градин был пулеметный и орудийный град, и легче было не промокнуть в проливной дождь, нежели избегнуть пули и осколка. И случилось, что уже убитый, падая, на своем коротком пути к земле бывал поражаем еще несколькими пулями; ими был насыщен воздух, они неслись бешено и хищно, словно и им передавалась ярость руки, спускавшей курок. Но запас остроконечных касок казался неистощимым, и все росла их лавина. Поглощая тела-

ми пули, впитывая смерть из воздуха и напитываясь ею, как губки, они разрежали частоту огня и создавали пустоты, по которым текли новые массы бледных людей; и так продолжалось двое суток – днем при сиянии солнца, ночью при голубом свете прожекторов, при котором лица живых и мертвых казались одинаковыми, а от груды трупов ложились черные неподвижные тени.

Двое суток Вильгельм II почти ничего не ел, плохо спал и в бинокль, судорожно дергая лицом, наблюдал за боем. Когда городок был взят и защитники его частью истреблены, частью взяты в плен, он со свитой въехал на его улицы и остановился в Гранд-отеле; там он весь день принимал поздравления, раздавал награды и шутил с генералами. Городок еще дышал испарениями крови, и всюду пахло кислым от неосевшего мелинитного дыма; часть города еще горела, и в сумерки окна Гранд-отеля засветились с улицы красным; потом задернули тяжелые драпри и зажгли свечи, но и мелинитом и кровью пахло по-прежнему, и голубой яд гари носился под высоким потолком и – словно только что здесь заседало огромное собрание людей, и все они курили какие-то вонючие, кислые сигары.

По приказу Вильгельма днем были расстреляны заложники, двенадцать человек именитых горожан. Они

были взяты еще утром, как только германцы вступили в городок, но днем кто-то выстрелил в прусского солдата-мародера, грабившего дом, и заложники были расстреляны. Ввиду того, что выстрел был только один и выстрелившего тотчас же убили, и что солдат был мародер, в штабе решились спросить самого Вильгельма, но он решительно ответил:

– Кровь самого плохого прусского солдата стоит крови всей Бельгии. Объясните им это, чтобы поняли, и расстреляйте.

Так и сделали.

К ночи занятый городок стих, и у пожара не осталось никого: один, в тишине и безлюдии, трещал и морщился огонь, стихая. Все, кого служба не призывала к бодрствованию, спали сном безграничной усталости, душевного утомления; и казалось, легче было разбудить мертвого на поле, чем такого спящего. Немногие во сне бредили пережитым, но голоса их были глухи и мертвы, как голоса теней с того света: в голове еще шло сражение, а вокруг головы витала тишина.

Как музыкальные ящики, спрятанные под подушку, были полны внутри себя голосов, крика и стонов временные лазареты с ранеными, но наружу приносилось мало: все оставалось за каменными стенами, и тому, кто выходил из лазарета на улицу, казалось,

что он сразу погружался в тишину, словно в воду, а кто снаружи входил в освещенные комнаты, тому чудилось, что он попал в какой-то болевой центр, где у тысячи людей болят зубы, болят нервы, болит разорванная кожа и раздробленные кости.

Особая тишина была вокруг Гранд-отеля: император давно уже страдал бессонницей, и принимались все меры, чтобы охранить его покой: караулы сменялись без обычного топота, обозы грохотали по самым дальним улицам, и ни один звук не возрождался без строгой необходимости. Вдали, где германские войска еще преследовали отступавших союзников, округло и слитно гудели выстрелы больших орудий: точно несколько великанов, присев на корточки и надув щеки, равномерно пухали друг на друга – без гнева и особенной страсти, скорее мирно и глуповато. У спящих счастливых, которых жизнь настойчиво извлекала из образов смерти, этот далекий гул преображался в светлые сны о летней грозе и пахучем клевере на розовых полях; другие его просто не слышали, как мельник не слышит мельницы. Не слышал стрельбы и император, но иногда слух как бы просыпался, гул становился явственным к четким, – но и это не раздражало, а скорее успокаивало Вильгельма: так среди ночи и тишины ночной приятна колотушка ночного сторожа, бодрствующего над спящими.

Но не от шума не спалось императору. Он даже лучше спал при шуме, и он много раз говорил, даже приказывал, чтобы шумели, но ему не верили, оттого что не могли понять; и стоило разнестись по его временному дворцу известию, что император удалился в спальню, чтобы тотчас же голоса сами собой понижались и усиливалась безмолвная жестикуляция. Так было и теперь: он только что вошел в спальню, он еще ждал бессонницы, а все кругом стихло, точно онемело, и окружило его безмолвием саркофага. Вошел старик камердинер и рассердил Вильгельма, заговорив шепотом.

– Ты что же думаешь, глупец? что я хожу и сплю? Убирайся.

Камердинер выскочил, но и в другой комнате продолжал говорить шепотом, не поняв, в чем причина гнева императора. А Вильгельм продолжал ходить, хотя уже болели и поясница и ноги от длительного дня усталости; но как Вечный Жид, он не мог остановиться и должен был все идти – от одной стены до другой. И мыслей он не мог остановить: они также двигались без дороги и бились о стены; и было во всем теле разлито какое-то смутное, острое, но заведомо невыполнимое желание, – уже потому невыполнимое, что оно было неизвестно. Это и есть начало бессонницы. Потом ход мыслей от стены до стены превратится в

сумасшедший бег, в танец ведьм на Брокене, а невыполнимое желание схватит за горло и начнет душить до крика; станет невыносимо.

Тревожило еще выпитое за поздним обедом шампанское, заставляя смеяться одну половину души, в то время как другая бессильно гневалась на самое себя и требовала покоя; раздражали неуловимые испарения крови, хотелось говорить, хотелось приказывать, хотелось без конца продолжать бесконечный день. А они спят! И если разбудить кого-нибудь и заставить слушать, он будет слушать, но лицо его будет сонно и неумно, и ответы будут невозможны до глупости. «Он хочет спать!»

Но еще не сошла с лица императора брезгливая гримаса, с какою он подумал о желающих спать, как другое чувство теплом и нежностью охватило его душу: будто кто-то перевернул неприятное представление о спящих и дал ему новый трогательный смысл. Сжатая в один луч, мелькнула перед глазами пестрая картина двухдневных утомительных боев, тяжелой работы во славу императора и Германии – как они работали, как они устали, как они хотят спать и как славно спит их измученным телам! «Бравые солдаты», – дал короткую реляцию Вильгельм, и грудь его расширилась и поднялась от наплыва силы и необыкновенного счастья. Бравые солдаты!

Счастье становилось все острее, росло, словно облако, и отрывало от земли – и вдруг на глазах Вильгельма блеснули умиленные слезы от мгновенного и яркого представления о каком-то необыкновенном величии, от державно-светлого образа, в котором слились черты всех владык мира, все троны, все земли и моря, все таинственно-чарующие имена древних властителей. Словно светящаяся лестница Иакова, на вершине которой, на самой ее последней тающей ступени находится он, император германский и всего мира.

– Текст, текст, – радостно думал Вильгельм, раскрывая походную Библию, – надо найти текст, надо прочесть проповедь, надо, надо...

Но в тексте оказалось не то, что надо, и сразу стало тяжело почти до отчаяния, до смертельного холода и тоски. Потом снова счастье. Потом опять отчаяние и тоска. Это начиналась бессонница с ее судорогами и отвращением к жизни. А он еще не раздевался – что же будет, когда он ляжет? Тоска!

Тоска!

И тогда ему пришла счастливая мысль: среди пленных, захваченных сегодня, вероятно, есть кто-нибудь с головой, с кем можно говорить и даже спорить. Это великолепно: спорить! Он позволит пленному выражать свои мысли, а потом заговорит сам и очарует

его, непривычного к разговору с царями. Даже отпустит его: пусть пойдет к своим и всему миру расскажет, что думает император Вильгельм, такой великий и страшный и такой простой.

Но непременно с головой!

Часть 2

Это был русский революционер, эмигрант, уже много лет живший в Бельгии и занимавший кафедру в Брюссельском университете. Он был не первой молодости, но пошел добровольцем в бельгийскую маленькую армию, участвовал уже в нескольких боях и отличился; в плен он был взят в штыковом бою и по счастливой случайности, всегда спасавшей его, не получил ни одной раны. Он также не спал, когда его очень вежливо пригласили во дворец, каким стал Гранд-отель; если не знать, что он русский, то его легко можно было принять за бельгийца или северного француза; и если знать – то и его небольшая светлая бородка и серые глаза, утомленные чтением, казались чем-то до чрезвычайности русским, ни на что другое не похожим. Но в списки пленных он еще не попал; даже свои считали его бельгийцем, и таким он и был приведен к Вильгельму. Было приказано, впрочем, не приводить только англичан.

Пленный поклонился, Вильгельм также. Вильгельм смотрел прямо и пристально по привычке, пленный также – и от огромного интереса, который возбуждал в нем император, и также по привычке. Он был без оружия и тщательно обыскан, прежде чем войти к импе-

ратору, и все это знал Вильгельм, приказав оставить их вдвоем.

– Вы устали? Садитесь, – приказал Вильгельм. Пленный сел.

– Хотите курить? – спросил Вильгельм, улыбнувшись.

– Хочу, – ответил, также улыбнувшись, пленный и все также прямо смотрел на желтое, дергающееся лицо Вильгельма. Последний, по немецкому обыкновению, рукой передал ему сигару: обрезана, курите. Сам же отпил из бокала шампанского и сел, резко отвернув полу сюртука.

«Уж не пьян ли он?» – подумал пленный с недоумением. Вильгельм спросил:

– Бельгиец?

– Я занимаю кафедру в Брюссельском университете. Профессор, доктор прав.

– А! Очень приятно, господин профессор. Ландштурм?

– Нет, волонтер. Вильгельм усмехнулся:

– А! Это интересно. Значит, против меня?

– Да, и против вас.

«Он не титузует меня, но голова! – это видно». И, подумав, спросил:

– А как себя чувствует король Альберт? – Я не знаю, как чувствует себя король Альберт. Вероятно, плохо.

Он ответил просто и спокойно, и от этого спокойствия слов и голоса вдруг заметно стало, что и рука его, которой он держал сигару, и лицо, и грязная нога в разорванном сапоге, закинута на другую ногу, – все это дрожит маленькой и непрерывной дрожью, и что-то в нем подергивается, соскакивает, неуловимо рябит. Это напоминало самого Вильгельма и было неприятно.

– Вы ранены? – спросил он резко, с неудовольствием.

– Нет. Я устал и, конечно, не совсем в порядке.

– Спать не можете?

– Нет. Минутами хочется, потом проходит. Я позволю себе спросить: это по вашему приказанию расстреляны заложники? Так нам сказали. Нас заставили присутствовать, я видел.

– Да, это приказал я. Кровь самого плохого прусского солдата стоит крови всей Бельгии, – повторил Вильгельм и, подумав, добавил: – Для меня, конечно. А в Бельгии, вероятно, думают наоборот?

– Нет, там этого не думают.

– Пустое; думают, но не смеют сказать. Пустое! Я их знаю. И их маленького короля знаю. Мне его не жаль: это глупый героизм, не достойный коммерческих способностей бельгийцев. Вы не думаете, профессор, что бывает и глупый героизм?

– Я не знаю, что...

– Вы любите Нансена? Я его обожаю: вот человек! Англичане и норвежцы его не оценили. Я обожаю его книгу. Отправиться на полюс, к черту, может всякий дурак, но он готовился, о, как он готовился! Я также. У меня у одного армия, а у вас волонтеры и сброд, и оттого я вас бью и буду бить. Я бью и буду бить!

И снова чувство необыкновенного счастья охватило императора: он улыбнулся и приготовился что-то ласковое сказать несчастному пленнику, который так измучен и принижен, но увидел в его дрожащей руке сигару и испуганно вскрикнул:

– Эй! Вы сроните пепел! Осторожнее.

Пленный вздрогнул от крика и слегка нахмурился, покраснев. Ему вспомнились заложники и то, как один из них плакал и умолял, чтобы не убивать, – так какой-то, видимо, ничего не понимавший ни в войне, ни в героизме.

– А зачем это надо: бить? – спросил пленный и покраснел еще больше.

– Как зачем? – удивился и не понял император. – Я не понимаю, выражайтесь яснее, господин профессор!

– Зачем это надо: бить? – настаивал пленный с некоторой резкостью.

Вильгельм понял и презрительно взглянул – поверх

глаз и головы.

– Ах, вы – пацифист! Глупо. Потому вы и в плен сдались?

Но пленный не обратил внимания на оскорбительный смысл последних слов, которые едва ли и слышал. Его также почему-то охватило чувство необыкновенного счастья, как во сне, и он потянулся. Потом тихо засмеялся, глядя прямо на Вильгельма утомленными и ласковыми глазами.

– Что с вами? Вы забываетесь.

– А разве это не сон?

– Нет. Глупо! Это не сон.

– А мне на мгновение показалось, что это сон, и я хотел говорить, как во сне. Я ведь не бельгиец.

– Что такое?

– Я русский, эмигрант. Политический. В тысяча девятьсот шестом году я приговорен к смертной казни, но мне удалось спастись. С тех пор я в Бельгии, и вот теперь... с вами. Я – русский.

– Это другое дело, – холодно сказал Вильгельм. – Произошла ошибка, и вы можете идти, господин...

– Профессор. Но почему вы не хотите говорить со мной? Вам ведь хочется говорить – мне также.

– Потому что вы тотчас же станете играть маркиза Позу, а Поза слишком немецкая выдумка, чтобы я этому верил.

– «Made in Germany»¹.

– Для вывоза, но не собственного употребления.

Революционер, эмигрант, русский! Что это за чепуха? Милостивый государь, мне нужен человек порядка, мне нужна старая добрая латинская кровь, с которой спорит моя германская, мне нужен человек этой старой дурацкой культуры, а не русский полудикарь. С вами я не спорю, как и с турками. Что такое русские? Их я бью... задом.

Император громко засмеялся от удачно сказанного слова и повторил, подчеркивая слова резким жестом:

– Я их бью задом!

Но еще светились его серые глаза насмешливой улыбкой, как в душу вошли отвращение, холод и тоска, чувство огромной ненужности всего: и войны, и мира, и смерти, и жизни. Он встал, ощущая острую боль в пояснице, и заходил по кабинету. Это усталость и бессонница. Они требовательны, эти усталость и бессонница, они хотят своего, и их возмущает каждое решительное слово, смелая и яркая мысль; своим ядом они отравляют волю и зовут ко сну, к смерти, к покою. Но он не подчинится их власти. Завтра он поедет на позиции, выспится, отдохнет, и все станет снова хорошо и грандиозно...

И снова заволновалось в нем поднимающее весе-

¹ Сделано в Германии (англ.).

лье, шаги стали быстрее и тверже, звон шпор отчетливее и яснее; и с удовольствием кивнув головой, он услышал фразу русского:

– Я – доктор прав, бельгийский профессор, говорите со мной, как с бельгийцем или ученым. И я женат на бельгийке.

– Это хорошо, – одобрил император. – А вы говорите со мной, как во сне. Хорошо? Вы хотите быть откровенным? – говорите откровенно: здесь нет этикета – война. Война! Вот вы, русские революционеры, пацифисты, доктора прав и прочее, кричите против войны, а что, кроме войны, могло бы дать вам возможность такого разговора? Вы подумайте, профессор, как это необыкновенно, как это счастливо: ночью, вдвоем, революционер – и германский император! Пусть это будет сон, – но не рутина, понимаете? К черту рутину! Где ваша кафедра? Где мой трон? Вы видите: эта смешная, старая бельгийская гостиница, где останавливаются купцы – мой дворец. Разве это не чудесно!

– У вас бессонница?

– О моих болезнях я говорю с моим лейб-медиком. Оставьте рутину, господин профессор! Или вам жаль вашей деревянной кафедры, дешевого возвышения с двумя ступенями от полу? Или вам жаль ваших безусых учеников с их тетрадками? Сегодня я ваш слушатель. Учите императора, пропагандируйте, ведите

себя... свободно!

Император засмеялся и сел, закинув ногу на ногу. Выпил шампанского и бокалом указал в направлении окна:

– Вы слышите? Это мои орудия. Ваши бегут, и мои войска преследуют их. Завтра мы кое-что услышим новое. Сегодня ваш первый бой?

– Нет. Не знаю, который. Мы все время в бою.

– Ого! Да, впрочем, вас мало. Имеете знаки отличия?

– Да. Два.

– Bravo! Bravo! Я уважаю храбрых, кто бы они ни были. Но этот глупый героизм... нет, его я не уважаю. Или у вас не знали, что я непременно, – он подчеркнул это слово, – неизбежно раздавлю Бельгию. Пусть мне не удастся съесть яйца, как доказывают ваши фантазеры, но скорлупа должна быть разбита! Не так ли?

– А вы слышите запах крови?

– Что это: ирония? Начало лекции?

– Нет, простой вопрос. Я все время слышу запах крови – очень особенный и очень ясный. Я слышу его и во сне, этим запахом окрашена моя пища. Если я останусь жив, то мне кажется, всю жизнь я буду слышать его: запах свежей крови и разлагающегося трупа. Когда-то я занимался медициной, анатомией, и для меня этот страшный запах трупа не нов – но

здесь слишком много трупов, их зловонием заражен воздух на десятки километров, целые страны превратились в мертвецкие, в студенческие препаровочные, анатомические, где свежего человека тошнит. Вас, конечно, не тошнит, вы привыкли, да и я... но я о другом. Вы, вероятно, замечали, что в запахе человеческого разлагающегося трупа есть что-то... почти святотатственное? Животное – другое дело: оно только противно воняет, и достаточно зажать нос, чтобы успокоиться. Но труп человека, когда он залежится? Здесь страшно то, что родное и близкое может так ужасно пахнуть. Не правда ли?

Вильгельм улыбнулся:

– Вместо лекции о правах – лекция о запахах?

– Вы смеетесь? Вот об этом я хочу спросить – об этом вашем смехе. Мы, обыкновенные люди, не любим и боимся запаха свежей крови и запаха трупа. Но вы, император? Как он действует на вас? Слышите ли вы его и чем он кажется вам? Вот сейчас – пленный вдохнул воздух и поморщился, – вы слышите, как здесь пахнет, или нет? Ведь очень плохо!

– Да, воздух испорчен, – согласился император и также поморщился. – И нельзя открывать окна: оттуда пахнет еще хуже. Но вы спрашиваете, как отношусь я? Я стою выше этого запаха, понимаете? Выше! Почему запах трупа непривычен и слабонервным людям

внушает страх и суеверные мысли? Потому только, что трупы принято хоронить, то есть все зависит от пустяков, обычая, известных навыков. Вы представляете, дорогой профессор, какой колоссальный запах поднялся бы от всех миллиардов умерших на земле, какая ужасающая вонь, какой смрад, если бы их не прятали так быстро в землю? Их прячут, и только от этого они не воняют.

– Сколько трупов вокруг нас. Ночь – и они лежат. Я как будто **их** вижу, – задумчиво сказал русский.

– А я их не вижу, и их завтра похоронят. Вы слышали о моих моторных плугах, роющих могилы? Глупцы смеются над ними и ужасаются; им нужен традиционный шекспировский могильщик, который непременно руками рыл бы яму – и болтал глупости в это время, бездельник! Все это дешевый романтизм, сентиментальность старой глупой Европы, блудливой ханжи, выжившей из ума от старости и распутства. Я положу ей конец. Почему жечь трупы, обливая керосином, как делают ваши друзья французы, нравственнее и красивее, нежели класть их в чистую и глубокую колею, как зерна? Или вы так наивны, профессор, что еще захотите спросить меня о жалости: жалею ли я? Сознавайтесь!

– Да, хочу. Сегодня один из заложников, старик, плакал...

– Плакал?

– Да, плакал и умолял, чтобы его не убивали. Так, какой-то старик. Он ничего не понимал... вероятно, он никогда и не думал ни о какой войне. Мне было его жаль.

– Пфуй! Стыдитесь, профессор! Но его все-таки расстреляли, надеюсь?

– Да.

– Бравые солдаты! Молчите, я знаю вашу мысль: да, конечно, конечно, он был невиновен. Как может быть виновен какой-то ничтожный старикашка, никогда не думавший о войне, в том, что кто-то другой, какой-то молодец с темпераментом выстрелил в моего солдата? Но разве были виновны мученики при Траяне и разве виновны в вашем смысле мои солдаты, в которых вы сегодня стреляли? Почему же вы не плачете над мучениками? Плачьте!

Голос Вильгельма стал резким и раздраженным:

– Все гуманисты кричат мне о жалости. Жалость! Жалость! Это глупо, профессор, глупо! Почему я должен жалеть того, кто стал трупом сегодня, а того, кто стал трупом триста лет назад, жалеть не должен? Какая между ними разница? Черт возьми – за пять тысяч лет их столько мучилось, бегало, голодало, теряла детей, умирало, казнилось, убивалось на войне, сжигалось на кострах, что, если их всех жалеть... а

какая разница? Разницы нет! Но вы – русский, впрочем; вы этого не понимаете. Русские лишены сознания; они живут эмоциями, как женщины и дети, у них много глаз, но ни одного ума. Их слезы дешевы и случайны. Они плачут над собакой, которую на их глазах задавил таксомотор, и спокойно курят при разговоре о смерти Христа! Вы не еврей?

– Нет.

– Поздравляю. Но что вы скажете о еврейских погромах в России? Гвоздь в голову, например, – а?

Пленный глубоко и серьезно взглянул в самые зрачки серых холодных глаз и молча опустил голову.

Часть 3

Пленный молчал, смотря на потухшую сигару, попробовал пальцем ее холодный конец. Канонада либо удалилась, либо смолкла, и в комнате было тихо, и как будто меньше пахло дымом и гарью. Вильгельм сурово смотрел на его голову: в ней чудилось ему какое-то упрямство, которого он еще не победил; и разорванные, грязные сапоги были неприличны, как у нищего. Русский!

– Возьмите новую. Вот сигары и спички. Курите, а то заснете. Хотите один бокал вина?

– Нет.

– Да, лучше не надо, – опьянеете. Вы слыхали, что у вас в России запрещено вино? Какие слабохарактерные люди! Они похожи на пьяницу, который дал зарок и боится даже уксуса; они могут не пьянствовать только тогда, когда на вино повесят замок. Но кончится война, которая их испугала, и они снова будут умирать от спирта, как эскимосы. Вам не следует пить.

Он с усмешкой отхлебнул из бокала. Русский молчал, и это несколько раздражало. Вильгельм снова усмехнулся и со стуком поставил бокал, так что пленный вздрогнул и посмотрел.

– За это вино я не заплатил и не заплачу ни пфенни-

га. Вам это также не нравится, господин профессор? Но это хорошо, что вы молчите. И хорошо, что вы о Христе не ответили. Что вы можете ответить? Что может ответить вся Европа? Я читаю ежедневно английские и французские газеты, и это смешно, – вы понимаете! – смешно до коликов в желудке. Ваших газет я не читаю, но, вероятно, то же, да? И, вероятно, также рисуют мои усы, да? И также рассуждают о гуманности и Красном Кресте и зовут меня пиратом и разбойником, а сами воруют на дровах, на хлебе и бумаге, на которой едят? О да, конечно, также. Скажите: у вас в России есть дома терпимости? Есть! А они еще не закрыты? О нет, конечно, – это естественная потребность; вероятно, и Ной в ковчеге занимался тем же, говорят они, а это был потоп! Вам не кажется, господин профессор, что теперешняя Европа есть необыкновенное, небывалое собрание мошенников?

– Отчасти, кажется, да. Мошенников много. Но вы включаете и Германию?

– Нет: мы – разбойники и пираты. Вот вы говорили о запахе трупов, который вы так необыкновенно и благородно ощущаете, а не слышите ли вы запаха колоссальной лжи? Правда в Европе давно умерла, – вы не знаете? – и труп ее разлагается, это и есть запах лжи. И трупами пахнут только страны, а ложью? – о, от полюса и до полюса стоит ее смрадная вонь. Поче-

му вы не слышите этого запаха? Почему вы не заметили, профессора и гуманисты, как умерла ваша истощенная культура, и продолжаете держать ее труп, разлагающийся и зловонный? Или в Европе никого не осталось, кроме мошенников и глупцов? Нет, я не злодей и не убийца. Убивают только живое, мучают только невинное. Я – могильщик для старой Европы, я хороню ее труп, и мир – да, сударь, мир! – спасаю от ее зловония. И если мои профессора, начитавшиеся Шекспира, – которого я и сам люблю! очень! – еще стремятся быть гамлетовскими могильщиками и что-то болтают о черепе Йорика; если мои демократы еще немного... цирлих-манирлих, вы понимаете? – и золотят каждую пулю братством и Марксом, то я, Вильгельм Второй и Великий, прям и откровенен, как сама смерть. Я – великий могильщик, сударь. Я миллионноспособный плуг для мертвецов, который бороздит землю. И когда эти глубокие, чистые и прекрасные борозды покроют всю Европу, вы сами, профессор, назовете меня великим!

– А бессонница?

– Вы опять о бессоннице? А мой труд? Забудьте о моих усах и скажите по чести: есть ли еще в Европе человек, который мог бы вместить и преодолеть столько, сколько я, германский император? Сколько врагов у Германии, вы знаете? А она одна – одна во

всем мире. Одна и побеждает. Какое из государств древнего и нового мира могло бы выдержать такую борьбу: одного со всеми, кроме Германии? А Германия – это я. О, как бы я был счастлив, профессор, на вашем месте: вы видели Вильгельма в этот роковой час, вы слышали его! За это можно заплатить не только свободой, но и... жизнью.

– Мания величия?

– Да. Всякий немец, начиная с меня, имеет право на манию величия. Вы – нет, для вас пусть останутся остальные болезни, вы согласны? Вильгельм засмеялся и даже похлопал слегка пленника по плечу, мельком взглянув на револьвер, который лежал на круглом столе, недалеко от профессора. Это был заряженный револьвер самого Вильгельма, кем-то глупо положенный и забытый на столе. И продолжал, смеясь:

– Не правда ли, какая интересная ночь? Это, пожалуй, лучше вашей кафедры, профессор! Этих деревянных подмостков для актеров гуманности так много в Европе... но вот странное, очень странное обстоятельство, профессор... не объясните ли вы? Я сам проходил курс университета и знаю, что все профессора учат разуму, справедливости, праву, добру, красоте и так далее. Все! И еще ни один не учил злу и канальству. Но отчего же все ваши ученики – такие

ужасные мошенники и лжецы? Вы их не так учите или они не так записывают в тетрадки?

– А чему они научили вас? Я хотел бы видеть ваши тетрадки.

Император засмеялся:

– Прекрасные тетрадки, профессор; моя жена ими гордится. Меня они научили – не верить им. Разве вы сами верите актеру или плачете, слушая граммофон? Это роли, профессор, только роли в устах бездарных лицедеев, и даже чернь уже начинает посвистывать им. Вот вы играете роль доктора прав – я не ошибаюсь? – но кто же, не сойдя с ума, поверит вам, что вы действительно – доктор прав! Теперь вы в новой роли: вы перепетрировались, и на вас мундир бельгийского солдата, но... – Вильгельм быстро взглянул на револьвер, – но не скажу, чтобы и здесь вы обнаружили особый талант. Вам не хватает простоты и убедительности!

Вильгельм засмеялся и продолжал, не в силах справиться с овладевшей им странной и тяжелой веселостью, за которой уже стояла тень тоски – он знал это:

– Вы доктор прав, вы – доктор прав, – а не хотите ли, я открою вам важную государственную тайну, касающуюся права? Вы знаете, кто хотел и кто начал войну? Я! Вы довольны? Я! Германия и я. Не правда

ли, как это важно для науки права, для всех деревянных подмостков, в две ступени, и всех граммофонов?

– Сейчас это не важно.

– Нет, это важно, сударь, но не в том смысле, как вы полагаете. Нет, это очень важно: ведь и Страшный суд наступит для мира не по приглашению, а в час, свыше назначенный – и назначенный не вами! Император нахмурился и строго посмотрел на пленника:

– Я объявил войну, я хотел войны, я веду войну. Я и моя молодая Германия. Вы же все – вы только защищаетесь. О, конечно, с точки зрения вашего права, это восхитительно, это делает даже ваших интендантов святыми и как бы кропилом кропит ваши пушки; но есть более ценное в жизни – это сила. Вы – профессор; не давайте же вашим святошам, неучам и ханжам ставить глупый вопрос: что выше: сила или право? Вы же знаете, что сила и есть право. Вы революционер и, конечно, демократ?

– Демократ.

– Конечно! Скажите же мне как честный человек, не актер: вы уважаете существующие законы?

– Нет. Не все.

– Конечно! Вы же не идиот, чтобы уважать закон, который вас, – невинного с вашей точки зрения, – приговорил к смертной казни! Или уважать закон против стачек! Или уважать законы о краже, раз сама соб-

ственность есть кража. Где же ваше уважение к праву, господин доктор прав?

– Существующие законы не есть выражение права.

– О, конечно: для вас! Ибо существующие законы – это только воля сильного, навязанная вам, сильного, с которым вы боретесь. Когда вы победите и станете сильны, вы напишите свои законы; и они также будут недурны, но кто-то все же останется ими недоволен и будет уверять с бомбою в руках, что страна истинного права лежит дальше. Не так ли? Почему же я не могу дать Европе своих законов, раз сила за мною? Кодекс Вильгельма Великого – это будет звучать с кафедры ничуть не хуже и не менее правомерно, чем кодекс Наполеона. Вашим ученикам придется завести новые тетрадки, господин профессор!

– А вы уверены, что сила за вами?

– Это разумный, наконец, вопрос, на который я с охотой отвечаю. Не угодно ли еще сигару, господин профессор?

– Благодарю.

– Пожалуйста! Сигары не дурны. Как это называется: когда император, названный в глаза почти злодеем, вежливо предлагает сигару революционеру и пленному, только что стрелявшему, и революционер вежливо благодарит? Кажется, культура? – император засмеялся и снова быстро взглянул на револьвер. – Я

шучу, курите спокойно, мне просто хочется, чтобы вы не заснули и похвалили мои сигары. Да, сила за мною потому, что я объявил и хотел и начал войну. А хотел я потому войны и не мог ее не хотеть, что у единого из всех государств, у Германии, есть двигающая ее идея. Идея, вы понимаете? Народ без идеи – мертвое тело, вы это знаете?

– Это давно сказал наш писатель Достоевский.

– Не знаю, не слыхал... У всех у вас были пушки и солдаты и военные министерства – почему же вы нападали? Не хотели проливать крови? Неправда. Вы нападали, но на слабейшего: французы на арабов, англичане на буров, вы на японцев, итальянцы на турок... впрочем, вы тогда ошиблись с японцами. Кажется, почтенные бельгийцы ни на кого не нападали, но зато для всех делали револьверы. Почему же вы не напали на Германию? Потому что для нападения на Германию нужна идея, а для тех достаточно простого аппетита, желания плотнее пообедать. Но я помешал вашему обеду: я сам хочу скушать кушающих. У Германии львиное сердце – и львиный аппетит!

Император засмеялся и благосклонно посмотрел на пленного. Он знал, что от бессонницы его глаза блестят особым ярким царственным блеском, и ему хотелось, чтобы русский заметил это. Кажется, русский заметил.

– Вы дворянин? – спросил император и, не ожидая ответа, продолжал: – Война с Германией! Для этого недостаточно сотни инвалидов, наемников и марширующих скверно мальчишек. Войну с Германией может вести только народ, весь народ, дети, старики и старухи, – а какой из народов растленной Европы способен к этому? Какому из народов под силу такой взрыв энергии, такая смелость? Объявить войну – это объявить бурю, сударь, взволновать океаны, небо и землю! Объявить войну – это самого себя гордо бросить на весы божественного правосудия, это ничего не бояться: ни анархии, ни смерти, ни совести, ни Бога. И я – объявил войну! Я нападаю. Я – Вильгельм Второй и Великий, львиное сердце молодой Германии!

Он гордо выпрямил грудь и продолжал, усиленно блестя глазами:

– Где идея Франции? Где идея Англии? Они только защищают бывшее, они хотели только покоя и тихой сытости, мира торгашей и мошенников. Теперь даже карманные воры возмущаются Вильгельмом: он помешал им трудиться! Что защищает ваша Франция? Идеи 93-го года? Красоту и свободу? Нет, сударь, – она защищает свои сберегательные кассы, своих всемирных ростовщиков и потаскушек, свое священное право – остроумно и блестяще вырождаться. Вы, рус-

ские революционеры, упрекаете меня, что я моим влиянием подавил вашу крохотную и слепую революцию, неврастенический порыв к свободе, но я – бережливый немец, я давал только советы, – Вильгельм засмеялся, – а деньги для ваших виселиц дала Франция! Защищайте же ее, защищайте, – и когда вам удастся отстоять эту ссудную кассу, она снова настроит вам эшафотов, она не забудет вас своей благодарностью! Но я этого не дам. Вот мой план – хотите послушать? Береговую Францию я возьму себе, остальное объявлю нейтральным... вы знаете, что значит нейтральное государство? Это блюдо, которое еще на кухне, пока здесь накрывают стол. Я съем ее впоследствии, когда она достаточно упрет. И не бойтесь – я сохраню ваш Париж. Ведь существует же Монте-Карло? – отчего же не быть и Парижу, вольному городу кокоток, нерожающих женщин, декадентов и бездельников со всего света. Это будет великий город остроумных наслаждений, половых экстазов и болтовни об искусстве; в нем соберутся евнухи обоего пола, и я сам буду охранять его! Сам! Пусть, как вата в ране впитывает весь гной и мерзость разложения, пусть существует... пока не придет мрачный русский анархист и не взорвет все это к черту!

Голос Вильгельма снова стал крикливым и раздраженным:

– Народ, в котором женщины отказываются рожать и мужчины не хотят производить, – не должен существовать! Евнухи хороши для серала, но где вы видали нацию евнухов, государство кокоток? У меня восемь сыновей, и я горжусь этим, и я жму руку всякому честному немцу, который днем делает ружья и пушки, а ночью молодцов-солдат! И чем была бы ваша жалкая Россия, если бы вы не рожали так упорно и не создали тех ваших масс, народной брони, которую пока еще не могут пробить и мои 42!

Пленный утомленно и нехотя возразил:

– Но и у вас в Германии начинают принимать меры против излишка рождений...

– Это не Германия! – вспыхнул Вильгельм и покраснел. – У меня во всей Германии до войны не было ни одной вши – ни одной вши, сударь! – но ваши солдаты нанесли их. Разве эти вши – Германия? И я потому тороплюсь уничтожить Францию, что ее «идеи» безнаказанного распутства, ее отвратительная зараза ложится и на мой свежий и сильный народ. Излишек рождений! – простите, профессор, но это глупо, вас кто-то поймал на удочку, профессор. У вас есть дети?

– Четверо. Я пока не защищаю Францию. Но в чем же идея Германии?

– В том, чтобы стать великой Германией.

– Этого хочет всякий народ.

– Неправда! Об этом кричат только ораторы, профессора и газетчики, пока народ спит. Но когда всякий человек в народе – понимаете, всякий! – начинает хотеть и стремиться к величию, когда благородная страсть к господству становится преобладающей страстью для стариков и детей, когда всякая личная воля устремляется к единому центру и все мозги мыслят об одном, – тогда бесплодная мечта фантазеров становится народной идеей! Германия хочет быть великой – вот ее идея, сударь! И здесь ее сила, перед которой вы дрожите!

– Господство для господ? Этого мало.

Вильгельм внимательно посмотрел на пленного, на револьвер – и усмехнулся.

– Если вам этого мало, то есть и еще нечто, профессор. Что вы скажете об идее возрождения? Что вы думаете о такой вещи, профессор, как... возврат к варварству?

– Это шутка или ирония?

– Такая же шутка, как запах крови и трупов, который вы ощущаете с достаточной и даже излишней, кажется, серьезностью. Нет, я не шучу. Разве вы не знаете, что я – германец? Варвар? О да. Тот самый германец, который еще в тевтобургском лесу колотил культурных римлян. С тех пор мы кое-чему научились у лати-

нян, но в то же время набрались и латинских вшей – нам надо хорошенько вымыться, хорошенько, сударь!

– В крови?

– Если вы так любите эффектные выражения, то – в крови. Разве вам неизвестно, что она моет лучше всякого мыла? Я – варвар, я – представитель молодой и сильной расы, мне ненавистны старческие морщины вашей дряхлой, изжившей себя, бессильно лживой Европы. Зачем она лжет? Зачем она не умирает, как и ваша Сара Бернар, и продолжает кривляться на подмостках? В могилу, в могилу! Вы съели слишком много, чтобы переварить, вы полны исторических противоречий, вы – просто абсурд! Умирайте, – и я буду вашим наследником: кое-что у вас есть. Оставьте мне ваши музеи и библиотеки: мои ученые разберутся в этом хламе и, может быть, кое-что оставят, – но если они выкинут даже все, я только порадуюсь. Мне не нужно наследства, на котором слишком много долгов! В могилу! В могилу!

Часть 4

– Вы ошибаетесь, – сказал пленный. – Вас побьют.

– Кто?

– Сила не за вами. Вы погибнете.

Вильгельм молчал. Затем сказал холодно и сурово:

– Мне стыдно за вас, сударь. Вы говорите о голоде, которым хотят победить Германию? Вы вспомнили о наших сухих корках хлеба, о которых кричит сейчас вся счастливая Европа, вычисляя день, когда нам нечего будет есть? Стыдитесь! Я краснею, когда читаю статьи в ваших газетах. Вам следовало бы отвернуться, как сделал Иафет, а вы подслушиваете у дверей Германии, о чем говорят ее хозяйки, и смеетесь над их благородной расчетливостью, как расточительные лакеи. Я весьма мало склонен к чувствительности, сударь, но я плачу, я, император, плачу, когда думаю о германских женщинах и детях; и когда предатели англичане с высоты своих кафедр вычисляют, сколько молока в груди наших молодых матерей, и надолго ли его хватит, и скоро ли начнут умирать наши младенцы, – я плачу от гордости за мой великий народ. Но пусть не торжествуют англичане! Грудь матери Германии неистощима!

И когда не останется молока в груди женщин – вол-

чицы из лесов будут кормить младенцев, как Ромула и Рема.

Пленный, покраснев слегка, возразил:

– Но я не о хлебе. Чем вы можете объяснить то огромное сопротивление, которое вам оказано? Вы на него рассчитывали?

Император молчал. Пленному показалось, что он несколько побледнел.

– Или оно не кажется вам таким большим? Вильгельм пожал плечами:

– Инстинкт самосохранения!

– Только?

– Что же еще? Они защищаются. Правда, я буду с вами откровенен: я не ожидал такого упорства со стороны...

– Трупа?

Вильгельм снова пожал плечами:

– Да, трупа, если хотите. Мертвец тяжелее, нежели я думал, и требует для себя более просторной могилы.

Но разве я ее не рою? Послушайте голоса моих могильщиков, они звучат достаточно... серьезно.

Гул дальней канонады переходил в рев, непрерывный и тяжкий. То ли снова разгоралось сражение, то ли перевернувшийся ветер полнее доносил звуки, но вся та сторона, где находился Запад, волновалась

звуками, гудела, гроыхала и выла. Как будто там, где находился Запад, кончалось все человеческое и открывался неведомый гигантский водопад, низвергавший в пучину тяжкие массы воды, камней, железа, бросавший в бездну людей, города и народы.

– Вы слышите моих могильщиков? – повторил Вильгельм строго.

Побледневший русский тихо ответил:

– Мне кажется, что мы плывем... и это Ниагара. Туда все падает.

Император засмеялся:

– Нет, это не водопад. Это ревут мои железные стада! Не правда ли, как страшен их голос? А я – пастух, и в моей руке бич, и я нагоню их еще больше, еще больше! Вы слышите? И я заставлю их реветь адскими голосами... ах, они еще недостаточно яростны. Разве это ярость? Пфуй! Надо реветь так, чтобы весь земной шар задрожал, как в лихорадке, чтобы так, – он поднял руку, – там, на Марсе, услышали меня, великого могильщика Европы! В могилу! В могилу!

Крепко и надменно сжав губы, словно забыв, что он не один, Вильгельм молча заходил по комнате. Грудь его была выпячена вперед, рука заложена за борт, голова закинута, шаги отчетливы и точны – он маршировал, он мерял землю и каждым шагом утверждал свою цезарскую власть над поверженным миром. И

глаза его были восторженны и безумны.

Русский сказал:

– Вы страшный человек.

– Вы понимаете? – отрывисто и не глядя бросил Вильгельм. Он едва ли понял смысл сказанных слов, и они прозвучали для его сердца широко, радостно и отдаленно, как голос признания, как робкая дань мирового восторга и преклонения. И снова ослепительным видением встала перед ним светящаяся лестница Иакова, и на последней, на самой верхней тающей ступени ее – он, Вильгельм, император германский и всего мира. А под ним – германский народ – бесчисленный, прекрасный, блистающий мечами и касками, грозный и властительный. До крайних пределов взора волнуется его царственная нива, где каждый колос – блестящий штык солдата, и теряется смутно в синем дыму океанов, в золоте и зелени тучных островов и еще неведомых стран, полных манящего очарования. И грозно блистающее солнце, как мировая корона, прямо над его головою.

Боясь неосторожным движением спугнуть мечту, щурясь от блеска свечей, почти ощупью, Вильгельм добрался до глубокого кресла и сел. И сидел долго, не шевелясь, почти не дыша, с закрытыми, но будто видящими глазами. Глубокая задумчивость, похожая на сон, овладела им и, как сон, мягко тянула его

в плывущую глубь неясных образов, светлых и величественных отражений, подобных игре солнца на колеблющейся воде. Замирал слух. Грозная канонада сперва стала не громче тиканья часового маятника – прервалась молчанием – и окончательно стихла в немоте высоких, плывущих, светлых и величественных призраков. Вдруг легкая судорога пробежала по телу. Бесшумно и быстро, точно под сильным порывом теплого ветра, забегали, заметались и растаяли светлые призраки и глубоким спокойствием звездного неба и безграничной глади морских вод оделась душа, отдыхая. Будто ясною ночью на своем железном крейсере он бесшумно режет податливую и глубокую воду. И ровный стук машины, и быстрое вращение винта, и осторожное прикосновение пенистых волн к скользким стальным бортам – все сливается в один ритмичный звук, подобный биению его собственного сердца, перестает быть звуком, становится дыханием. Теперь он сам – железо, сталь и пушки корабля; теперь он сам – его раскаленные горна, его могучие рычаги, его сильно и крепко вращающийся винт; теперь он сам – его острый стальной нос, властно таранящий воду и пространство. Единое тело, единая воля, единая цель. Но сколько силы нужно для дыхания, когда вместо сердца миллионноносильная машина и ребра скованы из стали!..

Император уснул.

Три-пять минут прошло в молчании. На минуту и русский закрыл глаза и удобнее сложил вытянутые ноги, но сон не шел к нему и усталость сделалась как будто меньше. Вытянув шею, с места он близоручко взгляделся в неподвижное лицо Вильгельма, послушал его тяжелое, но ровно сонное дыхание и улыбнулся. Тихо окликнул:

– Государь!

Ответа не было. И с новым чувством особенного интереса ко всему окружающему, почти детского любопытства, пленный тихо встал и обошел комнату. Осторожно заглянул в окно, слегка отвернув край драпри: внизу было темно и тихо, а за крышей противоположного дома стояло искристое зарево недалекого пожара. Прислушался к канонаде – все то же. Опустил, поправил занавес и с минуту стоял перед огромной, исчерченной, стратегической картой, прибитой к стене; подумал: как мало я понимаю!

Медленно отошел к круглому столу, где лежал заряженный револьвер, и осторожно, не глядя на спящего, взял его в руку, заглянул в магазин: да, заряжен. Как глупо и неосторожно!

Держа револьвер обеими руками, низко склонив над ним голову, точно всматриваясь в самую тайну его содержимого, русский с минуту стоял в полной непо-

движности и что-то сосредоточенно и глубоко думал; ни один волос, ни одна складка не шевельнулась за это время. Потом также осторожно и тихо положил револьвер на прежнее место – и только тогда взглянул на императора.

Император спал.

Слишком серьезный, чтобы улыбнуться или даже пожать плечами, пленный вернулся на свое место, сел и еще раз оглядел комнату. Теперь она была новая и другая, и тяжелый рев орудий за стеной вдруг потерял весь свой грозный зловеший смысл: не верилось, что там стреляют не холостыми патронами, а настоящими, и убивают. Но усталость у пленного совсем прошла, уже больше не дрожали ни руки, ни ноги, и голос был громок, спокоен и тверд, когда он вторично окликнул Вильгельма:

– Послушайте!.. Проснитесь. Государь!

Вильгельм открыл глаза, ничего не понимая.

Но вдруг все понял и с сильно забившимся сердцем вскочил на ноги. Русский так же встал невольно и привычным жестом солдата опустил руки по швам и составил ноги.

Часть 5

Вопросы императора были отрывисты и резки:

– Я заснул? – Да.

– Долго я спал?

– Минут восемь или десять. Может быть, больше.

– Вы вставали?

– Вставал.

– Ходили? – Ходил.

– Как вы смели!

– Я окликал вас, но вы не слышали.

– Вы должны были позвать других!

– Я не хотел, чтобы они увидели это.

Он спокойно показал глазами на револьвер. Вильгельм быстро взглянул туда же и повторил:

– Да. Это. Пожалуй, вы правы. Да. Это. Садитесь. Вы брали это в руку? Он не так лежал.

– Да, брал.

– И положили обратно? Благодарю вас. Отчего вы не садитесь? Садитесь, пожалуйста. И, конечно, вы теперь свободны, понимаете? – можете идти куда угодно. Я даже не беру с вас слова, что вы не будете снова драться со мною. Деритесь!

– Благодарю вас. Я буду драться. Вильгельм вежливо наклонил голову:

– Я искренне сожалею об этом, господин профессор. Вы – благородный человек. Моя жена узнает об этой ночи.

Русский также вежливо поклонился. Вильгельм благосклонно взглянул на его бледное, чересчур скромное, чересчур ученое лицо и добавил:

– Но Германия об этом не узнает. Ей совсем не надо знать, что ее император в течение десяти минут был... обыкновенным смертным человеком, не так ли? Я позвоню. Мне хочется видеть теперь кого-нибудь из своих, вы понимаете?

Когда вошел адъютант, император, покраснев от гнева, долго мерял его сверкающими глазами – и крикнул так громко, что вздрогнули оба, и адъютант и пленный:

– Вина!

И еще долго и молча сердился, краснея, пока старый и невинный камердинер, личный слуга императора, не внес новой бутылки шампанского; но и его окинул тем же гневным взглядом и также громко крикнул:

– Ну? Вон, – живее! – и весело рассмеялся, показав глазами на испуганную согнутую спину старика: – Вы видите, какие они. Ничего не понимают! Берите сигару и курите. Пусть это будет наша трубка мира.

– Или перемирия? – улыбнулся русский.

– Тоже превосходная вещь! – решительно ответил

император, дымя сигарой. – Курите. Надо дать отдых нервной системе. Старик Гинденбург говорит, что эту войну выдержит тот, у кого нервы крепче! Silence!²

Несколько минут оба молча курили. И только теперь, когда человеческий голос, всегда чужой и тревожный, не нарушал тишины глухой комнаты, почувствовал император все блаженство возвращенной жизни. Мысли были смутны и бежали где-то поверху, как облака в солнечный день, а все тело радовалось до томления, до желания смеяться и петь. С чувством необыкновенного удовольствия Вильгельм осмотрел комнату, благосклонно остановил взор на пленном, добродушно оценивая его как очень милого человека, и сосредоточил внимание на стратегической карте. От нее веяло простором и свежестью, как от весеннего дня, зовущего на дальнюю прогулку; ее путанные линии и условные слабые краски, ее еле видимые мелкие названия преобразались в леса и горы, в широкие реки, над которыми перекинуты мосты, в тысячи городов и селений, полных шумного и торопливого движения.

Где-то за дверью сменяли караул. Приглушенный шепот команды, осторожный, но размеренный и точный топот подкованных сапог, стук приклада о деревянный пол – и снова тишина. Гранд-отель спал. И ка-

² Молчание! (фр.).

нонада стихала, удаляясь, или и для дерущихся наступал тот момент непобедимого утомления, что наступает перед рассветом, когда безвольно цепенеют усталые тело и дух. Как большие собаки во сне, отрывисто лаяли одинокие орудия. Охваченный радостным беспокойством, Вильгельм подошел к окну и отдернул драпри. Хотел открыть окно, но тугая рама не поддавалась усилию слабых рук, и пленный вежливо помог, толкнув раму ладонью. В распахнувшееся окно дохнуло свежестью почти летней ночи и запахом гари.

– Надо немножко воздуху, – сказал император, улыбаясь.

– Да, здесь очень душно, – согласился русский.

Они оба стояли у окна, Вильгельм у самого подоконника, пленный немного сзади. Зарево над крышей еще мутно искрилось, и небо было черно; но круглые камни мостовой слегка посветлели – ночь близилась к концу. И внизу было все также тихо и безмолвно; а по дальним улицам ровным гулом водопада, никогда не спящего, грохотали обозы. Вслушавшись, можно было отличить тяжкий придавливающий грохот орудий от тархтенья возов и кухонь, частое цоканье кавалерийских копыт и ритмичный, еле слышимый, но могучий в своей непрерывности топот пехоты. Влажными, предрассветными гудками пролагали себе путь автомобили. Где-то в вышине и далеко

гудели аэропланы, как тугие струны, и весь теплый воздух был полон бессонья и томительных стремлений.

«К Парижу!» – подумал император, и сердце его застучало ровнее и громче, как под рукой барабанщика. Небольшой звездой на карте, без улиц и людей, на мгновение представился ему мировой город, и туда двигался этот людской поток, увлекая за собою и его душу, жадную, как душа варвара, ищущего завоеваний и добычи. Улыбка сошла с его побледневшего лица; усы хищно топорщились. «К Парижу!» – бормотал он все громче магическое слово, вздрагивая от томительных хищных вождедений, – и, обернувшись, хотел что-то громко сказать своему адъютанту, тихо дышавшему за спиною. Но это не был адъютант, император забылся. Это был какой-то бельгийский солдат, пленный, черт знает что! Лицо Вильгельма исказилось гримасой, и недоговоренные слова камнем упали в душу.

– Вы что-то хотели сказать? – спросил русский.

– Ничего. Закройте окно! – раздраженно приказал император, отходя.

Пленный исполнил приказание и спросил:

– Прикажете задернуть и драпри?

– Да! – также резко ответил Вильгельм и нехотя добавил: – Пожалуйста.

Тяжелые драпри сдвинулись. Стало угрюмо, глухо и душно, и мигающее пламя свечей, всколыхнутое свежим воздухом, было неприятно в своей молчаливой, бестолковой пляске и приседаниях. Если бы не этот русский, он снова открыл бы окно и долго и с наслаждением слушал бы энергичный шум движущихся вооруженных масс, остался бы совсем один, погасил свечи и слушал бы долго, питая душу образами победы и величия... но этот господин! И нельзя просто приказать ему уйти; те десять минут, когда он держал в своих руках жизнь императора и судьбу Европы, дают ему какие-то странные, совсем особые права.

– Что же вы не садитесь? Садитесь.

Пленный сел, положив ногу на ногу.

Вильгельм, прищурившись, взглянул на его рваный сапог и спросил:

– А скажите, господин профессор: вы поступили так с револьвером... не из трусости? О, конечно, я говорю про моральную трусость, вы понимаете?

– Нет.

Вильгельм подумал и с некоторою торжественностью произнес:

– Я вам охотно верю. Это было бы слишком глупо и ничтожно. Но догадываетесь ли вы, господин профессор и истинный гуманист, – Вильгельм сделал свой взгляд суровым и устремил его прямо в глаза плен-

ному, – но догадываетесь ли вы, кто именно спас меня, императора Германии? Нет? Ну, кто удержал вашу руку, уже взявшую это? Нет? Кто, наконец, направил вашу волю по... неисповедимому пути?

Пленный в недоумении покачал отрицательно головой, а Вильгельм встал, выпрямился, как перед фронтом, и торжественно поднял к потолку левую коротенькую руку:

– Бог! Вот кто спас императора Германии.

И низко, почти театрально склонил голову, как бы шепча благодарственную молитву. Русскому надо было встать на время короткой молитвы, но он не встал, и эта непочтительность не понравилась императору. Медленно опустившись в кресло, он неприязненным взглядом окинул задумчивое лицо пленника и коротко бросил:

– Вы атеист, конечно?

– Не знаю, нет.

– А! это искренно. «Не знаю!» Но, допуская существование Бога, – император иронически шевельнул усами, – вы никак не можете допустить, чтобы Бог захотел спасти германского императора. Не так ли?

Пленный подумал с минуту и серьезно ответил:

– Также не знаю! Не удивляйтесь. Все мое мышление направлено по другому пути, и самому мне, конечно, и в голову бы не пришло то, что вы сказали так пря-

мо и с такою уверенностью. Бог! Но когда вы встали и подняли руку к небу, мне вдруг показалось это... очень серьезным. Вы позволите мне быть немного резким?

Вильгельм решительно ответил:

– Можете.

– Я постараюсь не злоупотреблять...

– Можете злоупотреблять. То большое зло, которого вы не сделали, дает вам право на это маленькое зло. Итак?

– Итак, прежде я ответил бы, что вас спасла моя воля. Но за это короткое время войны я узнал многое, о чем не думал раньше, и увидел мою душу в новом свете. Да отчего не допустить, что вас охраняет чья-то высшая воля? Очень возможно. Но не думаете ли вы, что это не Бог, а – дьявол?

– Дьявол?! Да вы с ума сошли.

– Вас оскорбляет это? Но, принимая в расчет все окружающее, эту неумолкающую канонаду крови, страданий, которых я был свидетелем, этих расстрелянных заложников... я никак не могу связать это с именем Бога. Впрочем, я не настаиваю; может быть, и Бог, – отчего не допустить и Бога? Вильгельм в крайнем недоумении пожал плечами.

– Странно! Очень странно! Вы делаете такую маленькую разницу между тем и другим?

– Точнее – никакой. И это второе имя, дьявол,

мелькнуло у меня лишь как отголосок старых и общих религиозных представлений: рутина мыслей, вы понимаете? Важно то, что я допустил чью-то высшую волю. Но я допустил ее еще раньше, до вашего возгласа, когда вы еще спали, а в моей руке был револьвер и возможность мгновенно изменить весь ход событий. Но я подумал: какое право имею я менять ход всех событий? И еще тогда мне стало ясно, что этого права у меня нет и быть не может, что мое назначение в войне твердо ограничено тем местом, которое я занимаю, и не может быть иным. Как солдат, я должен сражаться храбро, быть стойким, убить столько-то ваших солдат и быть убитым самому, это мое право и обязанность, но не дальше того. Иначе – дикая чепуха и неверное решение задачи!

Вильгельм пренебрежительно пожал плечами:

– Восточный фатализм?

– Нет, просто знание своего места в процессе и разумное чувство меры. Для правильного решения небывалой проблемы, поставленной перед миром, каждая цифра должна значить то, что она значит, и твердо занимать свое место в определенном ряду. Я ясно почувствовал это еще давно, еще в тот день, когда сказал себе: теперь я должен быть бельгийским волонтером и драться с пруссаками. И больше ничего: быть волонтером и бить пруссаков.

Лицо Вильгельма выражало нетерпение. При последних словах пленного он вскочил с места и яростно заходил по комнате, бросая гневные фразы:

– Бить пруссаков! Так они говорят. Волонтеры! Жалкие комбатанты, только раздражающие моих храбрых солдат! Или вы не понимаете, сударь, что вашим благородным участием вы усиливаете сопротивление этого маленького коммерческого народа, который иначе давно уже признал бы мою волю. Это вы и вам подобные слепцы принуждаете меня стереть его с лица земли! Где ваша Бельгия, которой вы так храбро помогали? Я разрушаю ее последние камни. Бить пруссаков! Вы слышите рев впереди нас? Пока мы болтаем, мои молодцы движутся к Парижу – к Парижу, сударь! – через две недели все вы будете сметены в море, как сор!

– Может быть. Но когда происходит взрыв, частицы окружающей материи должны оказывать сопротивление расширяющемуся газу. Иначе взрыва не будет, вы понимаете? И чем плотнее материя, чем крепче ее сопротивление, тем яростнее взрыв. И я – я только частица материи, оказывающая сопротивление. В этом мой долг.

Вильгельм внимательно взглянул на бледное серьезное лицо пленника и воскликнул полушутливо, с казарменной резкостью:

– Тысячу чертей в эту русскую голову, я ничего не понимаю! Частица материи, оказывающая сопротивление. Спротивляться, чтобы вернее погибнуть! Уверяю вас, господин русский, что никто из ваших товарищей по фронту не думает, как вы. Быть может, они просто глупы, но они хотят победить, а не гибнуть... для правильного решения задачи. Вы смешали пулемет с кафедрой, господин профессор, это просто нелепо!

Русский ответил:

– Почему вы думаете, что я не хочу победы? Нет, я также хочу победить, иначе я был бы плохим солдатом и изменил моему цифровому значению. Я уже сказал вам: вас победят!

Вильгельм надменно выпрямился.

– Кто?

– Частицы материи, оказывающие сопротивление. Волонтеры и жалкие комбатанты. Женщины и дети. Воздух, люди, камни, бревна и песок, все, что вашим взрывом брошено кверху, – и оттуда свалится на вашу голову. Вы погибнете под обломками, и ваша гибель неизбежна!